

Александр Левитов

**Погибшее, но милое
создание**



Александр Иванович Левитов

Погибшее, но милое создание

«Америка имеет девственные леса, девственную почву, а Москва имеет девственные улицы. Говорю о таких лесах и таких улицах, где ни разу не бывала нога человека. Я, по-настоящему, должен был бы показать, каковы именно эти леса, для того, собственно, чтобы читатель знал, как именно думать ему о девственности московских улиц; но в первом случае я рекомендую ему романы Купера, а во втором – мой собственный рассказ, и результат этой рекомендации будет таков, что из романов Купера он почерпнет настоящее понятие о девственности американских лесов, а из моего рассказа – о девственности московских улиц...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0013
III.....	.0031

Александр Иванович Левитов
Погибшее, но милое
создание[1]

Америка имеет девственные леса, девственную почву, а Москва имеет девственные улицы. Говорю о таких лесах и таких улицах, где ни разу не бывала нога человека. Я, по-настоящему, должен был бы показать, каковы именно эти леса, для того, собственно, чтобы читатель знал, как именно думать ему о девственности московских улиц; но в первом случае я рекомендую ему романы Купера, а во втором – мой собственный рассказ, и результат этой рекомендации будет таков, что из романов Купера он почерпнет настоящее понятие о девственности американских лесов, а из моего рассказа – о девственности московских улиц.

Во время моего первого знакомства с Москвой меня всего более поразило следующее обстоятельство. Идешь, бывало, по широкой, людной улице и видишь, что на каждом пункте ее кипит та деятельная, столичная жизнь, которая, как известно всякому мало-мальски порядочному фланеру-наблюдателю, заставляет любопытных провинциалов

останавливаться чуть ли не на каждом шагу и смотреть на ее суету с неприличным даже раскрытием рта. Так вот, говорю, идешь по такой улице, и постоянно тебе мечутся в большие глаза эти чудаки, до глупости заинтересованные разыгрывающиеся на ней ярмаркой столичного тщеславия, до болезни глушит тебе уши грохот экипажей, и так это всего тебя распалит и разозлит эта «людская молвь и конский топот»[2], что, натурально, озлобляешься против этого ничем не смущаемого зеваки.

«Эдакой балбес!.. Чего он тут зевает? – с какою-то злобой думаешь про любопытного. – Так спокойно загородил тротуар, как будто он устроил его исключительно для своего удовольствия».

Но не в этом дело. Главная сила вот в чем: оглушенные страшным шумом одной из главных улиц столицы, вы вдруг совершенно неожиданно, как бы по воле могучего чародея, переноситесь из этого места будто за тридевять земель. Так велика бывает разница в жизни московских местностей, находящихся в самом близком соседстве, что, перешагнув-

ши иной раз из одной улицы в другую, вы только возможностью волшебства объясняете себе эту странную перемену домов, людей и даже самого климата.

Разозленные грохотом экипажей, навязчивостью разносчиков, неотразимыми претензиями на вашу щедрую милостыню тьмы темных личностей, извозчиками, которые, как будто с намерением, злят ваше плебейство титулом сиятельства, наконец, полным счастьем восторгающегося всеми этими прелестями провинциала, вы кисло морщитесь, поворачиваете направо или налево – и декорация в мгновение ока окончательно изменяется.

Пред вами уже не те изумительно грандиозные четырехэтажные дома в половину квартала, невольно заставляющие вас, при взгляде на них, раздуматься: обыкновенными ли человеческими силами строили их владельцы или они прибегали в этом случае к каким-нибудь волхвованиям?.. Таких палат, говорю, нет и в помине.

Перед вами робко вытянулся ряд скромных домиков, с этими милыми кисейными

или ситцевыми оконными занавесками, дающими вам неотъемлемое право предполагать, что за ними скрывается бедное, но благородное семейство, – с заборами, утыканными гвоздями и увенчанными наследственными деревьями, с туго припертыми воротами, с голодной и слепой собакой, равнодушной ко всему окружающему и глубокомысленно молчаливой. Ряд этих патриархальных приютов обыкновенно начинается мелочною лавкой, а оканчивается будкой. У лавки стоит краснощекий хозяин в засаленном, как чумацкая рубаха, фартуке, всегда без картуза, с руками знаменательно заложенными за спину. На губах его сияет улыбка. Из окна, противоположного лавке, его высокоблагородие Роман Ефимыч, отставной майор и кавалер из палочной академии, «вежливенько», как бы и своего брата майора или титуляра, приглашает лавочника на чашку чаю. На крыльце будки сидит неразгаданный будочник: я потому употребляю этот эпитет, что обыкновенно решительно невозможно отгадать, дремлет ли будочник, утомленный долгим бодрствованием, или он так же бесцельно, как бесцельно бодр-

ствует, смотрит на широкое картинное всполье, раскидывающееся за такою будкой.

В подобных улицах только и есть эти два пункта, откуда еще проглядывает жизнь. Остальные точки их решительно необитаемы и безжизненны, следовательно, девственны. Дальше слышно и видно только, как наследственные деревья, осеняющие гвоздистые заборы, дремотно качают верхушками и тихо шуршат листьями. Мертвая, ничем не прерываемая тишина и молчание самое усыпляющее завершают картину...

Почва этих, редкому смертному известных стран должна быть очень плодородна, потому что вся весьма тщательно удобрена всеми принадлежностями, негодными в хозяйстве: старыми, дотла изношенными подошвами, золой и разного рода, весьма легко поддающимися гниению, остатками от некогда, по всем вероятиям, пышных одежд. Распаханная неизвестно когда и неизвестно зачем проехавшими тут колесами, почва представляет все возможности прозябать на ней разной травке, достаточно высокой для того даже, чтобы в ней резвились и прятались разно-

шерстные котята.

Приехавши в столицу из глубины степей более или менее откормленным парнем, я некоторое время был объят глубокою тоскою по родине. Эта тоска усиливалась до тяжелой болезни, когда, бывало, городской шум прерывал золотую цепь моих представлений о тишине степей наших, о их могущественной красоте, о их, наконец, своеобразной, неприметной для постороннего глаза жизни, которая в неисчислимое количество раз казалась мне тогда и деятельнее, и разумнее жизни, так возмущавшей своим громом мою степную натуру против столичной деятельности.

И вот когда я в первый раз, случайно, попал в одну из девственных улиц, когда я увидел за забором одного домика развесистую яблоню, а на улице невыполотую траву, в которой играли котята и чирикали молодые воробьи, когда я почуял в воздухе нечто напоминавшее аромат степи, я почувствовал к этим улицам, необыкновенную слабость. В их успокаивающей тиши очень скоро проходила хандра от отношений и обязанностей, которые неумолимо принуждает меня выполнять

городская жизнь; поэтому вот уже несколько лет брожу я по этим улицам, ищу их близ застав, в Замоскворечье, ищу в сердце Москвы, и я даже открыл такую местность, которую сами обыватели не могли назвать мне. Недавно только, когда я изучал прилегающие к ней улицы, со мной встретился необыкновенно дряхлый старец, который сказал мне, что место это называется «Марьиной слободкой», что это очень хорошее место, потому что живут они себе здесь тихо да смирно, ровно у Христа за пазухой.

Теперь я очень хорошо познакомился с этим стариком. Мой новый знакомый, когда я проникнул к нему в гости, представил меня другу своему, зашивальщику, тоже старику, живущему с ним на одной кровати, и потом уже на именинах у старика-зашивальщика я самым тесным образом сблизился с одним удивительно искалеченным ветераном и с соседом-будочником. Будочник, в свою очередь, обязательно пригласил меня к себе на именины.

– Смотрите же не забудьте, сударь, третьего числа, – говорил он, прощаясь со

мною. – Пророчица Анна и Симеон Благоприимец: это и есть мой ангел.

Таким образом, третьим февраля и начинается мой рассказ, характеризующий девственность московских улиц.

Только моя необыкновенная страсть смотреть, как поживают на белом свете разные добрые люди, заставила меня ехать «к черту на кулички» – на именины к будочнику. Мороз был необыкновенный; треск промерзнувших крыш и заборов нарушал в этот раз мертвое молчание, обыкновенное в девственных улицах.

По приметам, сообщенным мне новым знакомым, я узнал дом, в котором квартировало его семейство. Маленькая, отощавшая собачка звонко ответила на скрип калитки, произведенный мною; ей откуда-то из угла отозвались куры сонным, продолжительным воркотаньем. Какой-то человек в мерлушечьем халате, с кокардой на фуражке, вероятно хозяин дома, пользуясь ночью темнотой, – нисколько не компрометируя значка, рекомендовавшего его благородную породу, мел двор.

– Кого тебе? – сердито допросил он меня.

– Знакомого одного: будочником в здешнем квартале служит.

– Служит?! Разве будочники служат?.. Служат только чиновники... Вон, ступай наверх.

Собачонка, тая от злости, подкатывалась мне под ноги. Мерлушечий халат ожесточенно прикрыл ее своей страшной метлой.

Я отворил тяжелую дверь, сколоченную самым медвежьим образом из толстых дубовых досок. За дверью царила непроглядная тьма; где-то вверху раздавались громкие голоса; плач охрипшего ребенка смешивался с гармоникой и с разухабистой песней.

Наконец я отыскал ступень лестницы и, с твердою верой в благодать провидения, полез куда-то. По мере моего приближения к небесам гармоника становилась слышнее, и я уже явственно слышал слова песни. Это был лихой хорей, сложенный, вероятно, поэтом-закройщиком и производивший в гостях гомерический хохот. Мне даже слышно было, как певец, окончив куплет, извинялся перед кем-то.

– Извините-с! – доносилось до меня. – Из песни слова не выкинешь. Ха-ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха-ха! – раздавалось во тьме, охватывавшей меня. – Не выкинешь: это точно.

Того склада не будет, ежели выкинуть. Валяй всю!

– Ничего, ничего. Пойте, – отвечал на извинения певца женский голос.

Гармоника снова сделала несколько аккордов, как будто умирал какой-то самый бесшабашный удалец и при последнем конце своем захотел потешить отлетающую душу самую любимой, самую удалой песней. Вот из ослабевшей груди вылетели две-три ухарские ноты, шутившие над смертью, и замерли вместе с веселою жизнью. В тот самый миг, когда следовало окончиться последнему аккорду, певец вдруг подхватил его своей оригинальной, хореической поэмой, и снова темноту, в которой блуждал я, прорезал музыкальный поток слов, возбуждивший новый хохот со стороны публики и вызвавший новое извинение со стороны певца.

Зная очень много всяких народных хореов и ямбов, я, тем не менее, с большим наслаждением слушал эту песенку. Она представляла для меня всю прелесть новизны как по своим мотивам, так и по содержанию. Первые, будучи необыкновенно однообразны

(они состояли из одного вздоха, безудержно продолжавшегося во все четыре строфы каждого куплета, — такого вздоха, который, прерываясь каждую секунду и, следовательно, ослабевая в конце, каждую же секунду с новою силой вылетал из здоровой груди), удивительно варьировались гармоникой. Последнее же, повествуя о похождениях некоторой вдовы, деревенской барыни, отличалось той крупною русскою солью, которою так забористо просолены наши доморощенные поэмы.

Облокотившись на какую-то стену, я выслушивал неимоверно забавные приключения вдовой барыни, и передо мною уже понемногу начинали рисоваться и одинокая глухая деревня, и ее безответная улица, наивно названная мужиками *красною*, — весь этот мирный быт далекого захолустья с каждою минутой яснее и яснее вставал в моей голове, и издали чуял уже я, как в конце улицы показалась эта барыня-домоседка. Бойко несет она свою благородную голову, храбро задравши ее к светлому небу, и крик ее, разносясь по всей красной улице, до самого основания воз-

мущает всегдашнюю тишину последней. Я начинал уже видеть барыню действующею в тех комических событиях, которые рассказывались и песней, и гармоникой, как вдруг стена, о которую я опирался, не выдержав моего напора, с скрипом валится набок; я лечу вместе с ней и отчаиваюсь в моей драгоценной жизни, но, благодаря богам-хранителям, оказалось, что это была не стена, а просто дверь, отворявшаяся внутрь.

Я ввалился в комнату или, лучше сказать, в какую-то пещеру. Огромная русская печь и кровать занимали пять частей пещеры. На лавке, противоположной кровати, подле крошечного стола сидели две женщины. Человек шесть мужчин необъяснимым образом лепились около кровати, на которой не то сидел, не то лежал певец с гармоникой – молодой солдатик. При всем старании публики потесниться и дать мне пройти, я с трудом освободился от кулька, в котором, зная родные обычаи, привез имениннику штоф Руже и приличную закуску, чем (объясняю это символическое обыкновение) я как бы желал и даже давал ему некоторое право на пользование

благами еще смачнейшими.

– Напрасно беспокоились, – говорил именник, принимая от меня кулек, который в момент снискал мне расположение всех гостей.

– С ангелом! – приветствовал я. – Примите, не побрезгуйте.

С меня насильно стащили шубу, которую было хотел я снять сам, и посадили к дамам. Ко мне подвели маленькую девочку и строго, с подзатыльниками, приказывали ей поцеловать у дяденьки ручку. Охрипшею, простуженною грудью, ровно треск маленьких стальных часов, девочка прохрипела:

– Дяденька! Пожалуйте ручку.

Я поцеловал бедное дитя, осужденное родиться в пещере с промерзшими стенами, среди атмосферы, неминуемо влекущей молодую жизнь к раннему гробу, и в колыбели уж обреченное страданиям. В глубине души моей я благословил это дитя всевозможных нужд на добрый труд в бедной жизни, на силу бороться с соблазном, который щедро рассыпается в подобных приютах праздностью и бессердечием молодых и старых богачей.

Я осмотрелся. Совершенно обледенелое окно пещеры, разогретое самоваром, как-то особенно грустно слезилось. От него и промерзнувших стен, тоже согретых и именинным истопом печи, и дыханием гостей, шли волнистые седые пары, наполнявшие всю комнату. Единственную сальную свечу, горевшую на столике, особенно густыми клубами накрыли эти пары, отчего она разливала по пещере слепой, ненастный свет, сообщавший всем предметам какой-то седовато-убогий цвет.

Прежние приятели мои – зашивальщик и искалеченный ветеран – грустно уединились в самую темноту к печке, широкое отверстие которой, сияя во мраке, делало из них как бы волшебных стражей заколдованного входа в подземное царство. Нисколько не вмешиваясь в общий разговор, они серьезно и терпеливо ожидали, когда наконец дойдет до них очередь принять из рук хозяина рюмку и, пользуясь этим случаем, пожелать ему от бога всяких благ – душевных и телесных. Они, очевидно, были в загоне, то есть внимание на них почти не было обращено, потому что

очередная рюмка доходила до них после всех. Высокий старик, отставной фельдфебель с бобровыми усами и подковообразными бакенбардами, убедительнейше приставал к каждому гостю, чтоб он одолжил ему заимоборазно до завтра гривенник, который он хотел подарить хозяйскому ребенку. Молодецки повертываясь на каблуках от одного гостя к другому, он уверял всякого с какою-то, так сказать, воинскою энергией, что такой милой и умной девочки он сроду еще не видал.

– Христос свидетель! – басисто и размашисто говорил он, – не доводилось никогда видеть, а в каких-каких губерниях не побывал. Дайте до завтра гривенник, сейчас подарю, потому люблю ребят и опять же я прост.

Отсутствие в его кармане собственного гривенника, который бы на деле мог доказать его любовь и простоту в отношении ребят, вызывало у гостей недоверчивые улыбки. Хозяин просил фельдфебеля не беспокоиться, однако же очередную рюмку подносил ему только третьему от конца, несмотря на его относительно высокий ранг. Бравый фельдфебель нисколько, впрочем, не претендовал на

такое пренебрежение к военным доблестям. Он пил, когда ему подносили, и любо было смотреть на него, как он, приняв от именинника рюмку, говорил ему покровительственным басом начальника:

– А это можно, можно выпить: вино в пользу солдату, а паче фельдфебелю.

При этом он быстро опрокидывал рюмку в рот, настойчиво отвергая всякую закуску.

– Кавардак выйдет, ежели всякую рюмку закусывать будешь, – наставительно поучал он. – По-моему: выпил одну, хватил другую, так много уж. Ну, после этого и насядь на закуску. Поешь вплоть и пей сколько хочешь; а как таперича неблагополучно себя почувствуешь, курни трубочки и шабаш.

– А по-моему, как я завсегда рассуждаю, без закуски пить – чревобесие выйдет одно; а чтоб оно, тоись, в пользу человеку пошло – пустяки, – возразил молодой солдатик.

Бравый фельдфебель завел с ним продолжительный дебат весьма горячего свойства.

Я начал присматриваться к другим личностям.

Самым почетным гостем был, очевидно,

молодой полицейский унтер-офицер, урезавший, как говорится, до риз-положения. На всякую внимательность, на всякое потчеванье хозяина он отвечал одним бессмысленным, икающим смехом.

– Не р-разберу, – кричал он, мотая головой. – Обстоятельней говори: я – твой начальник!

– Кушайте, кушайте рюмку-то. Очередь за вами, – отвечал хозяин, видимо робея.

– Ну, выпил. Што ты еще можешь мне говорить?

– Кроме, как угощенья, могу ли с начальником о чем говорить?

– Вер-рно! На чистку снега не ходи завтра. Сиди дома: я тебе позволю.

– Благодарствую, сударь. Позвольте ручку поцеловать.

– Целую! Я тебя за твое почтение очень люблю. На вот, твоей девчонке двугривенный.

И ундер, не зная почему, залился своим икающим смехом.

Выпивка с каждой минутой принимала более и более широкие размеры. Бравый

фельдфебель пустился в пляс с самыми неистовыми выкрутасами. У него сыпались необыкновенно смелые поговорки, поминутно вынуждавшие его извиняться перед дамами.

– Простите, Христа ради, старику, – умолял он скороговоркой, постепенно делаясь бравее и бравее. – Ради именинника простите. Мне, по-настоящему, уж пора бы и перестать черта-то потешать, да куда ни шло! Может, за мою службу богу и великому государю мои грехи на том свете и простятся.

Фельдфебельский пляс увлек всех. Разговоры сделались живее, движения порывистее. Молодой солдатик, заливаясь самым лихим манером на гармонике, дружелюбно подмаргивал мне и сидевшей подле меня женщине в шелковом платье на пляшущего старика. До этого времени вся публика слишком заметно сторонилась нас обоих, называя мою соседку не иначе как барышней, а ко мне ежели кто относился, так с почетным титулом вашего благородия.

– Да это что? – говорил фельдфебель, оставившаяся, наконец, предо мною. – То ли в

старину было!.. Укатали бурку крутые горки. Имеем, сударь, окромя Егория и всяких медалей, шестьдесят годов на плечах, а по божьему-то сказать, на баранью морду всех этих штук не купишь. Выходит, я их заслужил. Заслужил? Истинно заслужил, потом да кровью во владенье свое приобрел. Оттого теперь и кости болят. Зато, чтоб обидеть меня кто мог – подожди!.. На офицерской линии состою, в сусалы-то ко мне не больно доберешься... Вот что!.. Хозяин! Поднеси нам по рюмочке с барином, храбрости ради.

Хозяин поднес нам. Фельдфебель чокнулся со мной и хватил; я тоже.

– Офицером быть бы вам, – сказал он, – знатно вы пьете, потому и ум, надо полагать, не малый имеете. Не люблю я, как барич какой рюмку поднесет ко рту и рожу скорчит да отплевывается, ровно его в лоб ошарашили. У меня сразу: марш! – орал он, в одно мгновение ока уничтожая другую рюмку, которую, не дожидаясь потчеванья хозяина, налил уже сам. – По дружбе говорю: пивал прежде, – продолжал он, – то-ись столько этого добра употреблять мог, что офицеры, бывало, в полку

нарочно складываются: четверть купят – как это я пьяный буду? Часика с два посидишь за ней – и аминь; только голос покрепче делается. А нынче вот, кроме как сила не та уж стала, жена завелась. По дружбе сказываю. Бьет, коли что насчет водки пронюхает... А насчет жены вот что скажу я тебе, друг ты мой сладкий: черт да баба хоть кого окопчат. Вот со мной какой случай был. Года три тому будет, приходит ко мне приятель один, тоже унтер-офицер. Дело на масленице было. «Пойдем, говорит, выпьем для праздника. Есть, говорит, у меня знакомая женщина такая, так мы к ней в гости пойдем. Не подумай, говорит, какая-нибудь: в корпусе прачкой числится, вдова, говорит, солдатская, с матерью и с детьми в казенной квартире живет». – «Что ж, говорю, пойдем». Захватили мы, знаешь, кой-чего по мелочам: водчонки да закусчоики, сколько смогли, и приходим. Приходим и видим: так это чисто каморка у той вдовы прибрана, сама в белом чепце сидит, на пальцах шьет; лицом, признаться, не так чтобы, даже прямо сказать: страсть страстью! На девчонке на ее платьице новенькое

надето, ситцевое, на двух ребятишках рубашонки такие новенькие; канарейка у окна в клетке висит, и цветы стоят. Фу, ты, мол, господи! Вот у нас солдатки-то как поживают! «Очень, говорит, рада вам, господа! Милости просим садиться». Сели. Посидемши, выпили, выпимши, разговор завели, а там опять выпили. Ничего. Детишки это такие ласковые: не боятся, как в других местах, а так прямо на колени и лезут. Мы им с ундером на гостинцы сейчас, а мать, это к нам: напрасно беспокоитесь, говорит. Тут мы еще выпили, матери поднесли, – древняя эдакая старуха, – та благодарна осталась. Хорошо-с!.. Нам, сударь, не наказать ли еще хозяина-то по рюмочке? – вдруг предложил мне фельдфебель, задумчиво покручивая усы.

– Не часто ли будет? – пожелал я узнать.

– Не часто, – ответил он.

– Ну, так накажем, – согласился я.

Хозяин весьма обязательно подверг себя этому наказанию.

– Вот я, приятель ты мой дорогой, и разогрелся у этой самой вдовы. Так это мне после выпивки хорошо у ней показалось. Стыдно

сказать, а всплакнул я горько у ней за полштофом. Думаю себе: господи, господи! Дожил я до седых волос, чин по своему солдатскому званию не малый заслужил, опять же жалованье, по тогдашней службе по моей в швейцарах, двенадцать с полтиной ежемесячно получал, – и нет у меня ни роду, ни племени, ни друзей, ни приятелей. Думаю я так-то себе, а сам плачу, словно река разливаюсь, и показалась она мне тогда, эта вдова, бог знает какую красавицею. «А что, говорю, вдова божья, давай-ка, братец ты мой, мы с тобой перевенчаемся...» Бухнул я это ей, а она ничего, что пьяный человек присватался за нее, с лапками ко мне. «Давай», – говорит. Мать за попом сейчас побежала, честь честью образом благословили нас, и стали мы жених и невеста. Не мало я радовался в пьяном-то виде... Проснулся поутру, трещит голова. Куда это, думаю, попал я. Уж и забыл про все. Ребятишки ко мне сейчас: тятей почали звать, – она их уж наострила. Невесту тоже увидал, пришла откуда-то. Увидал ее, ужаснулся да все и вспомнил. Куда, думаю, дену я эту ораву? Чем я ее прокормлю? Трое детей, мать-

старуха еще, сам наприбавок, всего шесть человек выходит: по два рубля на душу приходится. Сумленье меня тут проняло: не маловато ли жалованья будет? Опять за вином я послал и говорю невесте: «А что, мол, невестушка моя милая, не простишь ли ты мне шали моей пьяной вчерашней? Я бы, говорю, отходу тебе, что касается то-ись насчет денег, не пожалел дать». – «Ты, говорит, пустого не болтай. Я давно такого случая выжидала; а ежели ты, может, спятиться хочешь, так в суд пойдем. Я, говорит, тебя осрамлю, а жениться на мне все-таки присудят тебя беспременно». Смолк я тут, потому увидал, что не миновать мне женитьбы. О том только беспокоиться стал, как это с такой чучелой на свет показаться. Женился. Баба ничего, хорошая вышла, только что муштрует она меня очень. Выпить мне чтобы когда по-старому, и не на свои, а в гостях, – ни-ни, ни под каким видом нельзя. Слаба баба, и мог бы я ее, разумеется, пальцем одним придавить, – ну, никак я супротив ее лютости выстоять не могу, когда она меня пьяного по всем суставам, по всем-то суставам, словно собаку, чем ни попало ко-

лотить почнет... В других разгах ничего – хозяйка как надо быть, и детишками тоже очень утешен, хошь, признаться, по доброте по своей частенько-таки приходится мне хлеб один черствый с водой есть, чтоб они без говядины не сидели, – любят тоже ребятишки говядину-то. Потому мое дело солдатское, привычное: они меня за это и любят... Значит, ничего! Жить можно, потому другие мужья и не с такими зверями живут. Главное, не думал жениться, не люблю я этих баб, а тут шут прорвал: в первый раз увидал – и обабился. Не подбей меня приятель на выпивку, и осю пору холостой бы ходил, сам бы себе барин-ном был; а теперь – на-ка!.. Не знаю, как сейчас и домой показаться, потому, сам ты видишь: проштрафился я здорово, – жаловался мне фельдфебель, грустно качая головой и отплевываясь. – Не велико, правду сказать, несчастье, когда пьяного мужа жена бьет, – продолжал он, – только до гроба до самого, должно быть, горевать мне, потому за расторопность свою от всего полкового начальства всегда одни милости получал, а тут, напоследок, сглупил, на старости лет к бабе под палку

добровольно пошел. Мне это горько – от бабы терпеть, а втрое мне горести, что сам я в эту петлю, так сказать, не подумавши, в пьяном образе влез.

Последние слова своей рацей фельдфебель произносил уже сквозь слезы. И, конечно, это были слезы пьяного человека, но тем не менее мне было очень жаль его, потому что я видел ясно, как человек умный по-своему, только что освободившись из служебного тридцатилетнего ярма, закончил свою жизненную дорогу, так трудно и так хорошо пройденную, какою-то роковой, непроизвольной глупостью, надевшей на него другое ярмо, которое он должен нести уже до самой могилы...

— О чем ты задумался, Сизой? – неожиданно отнеслась ко мне вдребезги разоде-
тая женская особа, доселе ничего не говорив-
шая.

Я выпучил на нее глаза.

«Почему это она знает меня?» – думаю се-
бе.

– Напрасно ты притащился сюда, – продол-
жала она, – нечем тебе тут пожить. В
этом царстве мрака, как там это у вас литера-
турно называется, едва ли что увидеть твоим
слепым глазам. Ты ведь слеп; я давно знаю.

Я остолбенел.

– Однако, Сизой, ты черт знает как поста-
рел, и лицо у тебя, не взыщи за правду, как-то
скверно вытянулось, поглупело, позеленело,
измялось. Не очень давно еще ты был такой
здоровый мальчишка. Помнишь?

Тут я вспомнил ее. Вспомнил, как несколь-
ко лет назад приехал я в столицу с разными
детскими восторгами и, увидевши, что гроз-
ное слово и тяжелая рука тятеньки за пятьсот
верст от меня, весь отдался влиянию некото-

рых угорелых ребят, и как эти угорелые ребята, воспользовавшись своим влиянием надо мною, осквернили мою шестнадцатилетнюю молодость.

В числе принадлежностей этого времени была и эта разодетая особа, известная тогда под именем разбойницы Саши.

Это была высокая, стройная брюнетка с размашистыми приемами, громкой и всегда, даже над самыми любимыми предметами, злобно насмехающеюся речью.

– Ребята! – говаривала она тогда, пародируя наши же фразы, – пьяницы вы, негодяи и глупцы здоровенные, это правда, но вы всегда найдете во мне добрую мамзель, готовую вам дать самые полезные советы, потому что я всех вас умнее и доброты у меня у одной тоже больше, нежели у всех у вас вместе. Целуйте у меня ручки за это – и выпьем.

Мы целовали у нее ручки и выпивали. В настоящую же минуту я почти ничего не помнил об этом, но, при виде разбойницы, старинные, давно прошедшие дни молодых увлечений живо воскресли в моей памяти, обширная программа разнообразных глупо-

стей, наполнявших эти дни, повторилась в голове против воли и окрасила румянцем стыда лицо, давно уже от румянца отвыкшее.

– Это ты, Саша? – промолвил я.

– А то кто же? – ответила она, улыбаясь. – Глупо так долго меня не узнавать. Я не то, что ты: я ничуть не изменилась. Я, кажется, никогда так не подурнею, как ты. Скажу тебе по секрету, одного боюсь: как бы еще больше не поумнеть, тогда я еще злей буду...

– Скажи, пожалуйста, только, ради бога, без острот, как ты попала сюда? Знакома, что ли?

– Напрасная просьба, Сизой; ты знаешь, я без остроты слова не могу сказать. А попала я сюда потому, что сей макарка (ты знаешь, что макарками будочников зовут) – мой единоутробный братец.

– Ты, помнится, говорила, что ты дочь полковника какого-то, потерявшаяся от гибельных обстоятельств.

– Все ты перевираешь, забывчивый! Дочь майора, я тебе говорила, получившая прекрасное воспитание и погибшая вследствие пьянства родителя и собственной невинно-

сти. Но ты не должен был верить этому, литератор близорукий, потому что все мы – когда будешь писать обо мне повесть, скажи, чтобы «все мы» кривыми буквами напечатали, – все мы так говорим. Поглупей какие скажут, пожалуй, что тятенька был капитан, а маменька майорша; оно, может, это и правда, только отчасти, всегда же это вздор. Я просто подмосковная крестьянка, Дунька Мизгирева. Могла бы я и княгиней быть, ежели бы была прежде так же умна, как теперь, и немного злее того, как теперь. Верь ты этому, заступник простых русских людей, говорю тебе, и радуйся: я достойно бы украсилась сиятельным титулом.

В былые времена я действительно угорал от такого рода фраз. В устах разбойницы они способны были тогда томить мое сердце великой тоскою о том, что такая натура погибает безвозвратно: они волновали ребячью кровь мою до страстного желания посвятить молодые силы на то, чтобы поднять с болезненного одра прекрасную жизнь, изуродованную нравственными болезнями, и исцелить ее, но в настоящую минуту мне противно было слушать эти цинические выходки и вместе с тем

хотелось услышать их до конца.

– Что ты нынче поддельываешь? – расспрашивала она меня. – По-прежнему ли с своими просвещенными приятелями несешь чепуху?

– Какие приятели, Саша? – отвечал я. – Тех уж нет: я давно с ними разошелся.

– Какой ты благоднравный! В этом ты ничего не переменнлся. И тогда ты был такой же благоднравный. Другие хоть пили и скандальничали, как повелевал долг службы, а ты ни в дудочку, ни в сопелочку; руки только всем связывал, – две рюмки тебя сваливали. Теперь-то хоть, по крайней мере, исправнлся ли?

– Кажется, исправнлся.

– О, добрый мальчик! Ишплявнлись!.. Не видала я, ты думаешь, как с фельдфебелем вы сейчас наказывали моего брата рюмочками? Впрочем, может, ты поступал так вследствие высших литературных соображений, – так это по-вашему говорится? Показала бы я тебе соображения, – ну, да уж бог с тобой: не хочу я больше быть Сашкой-разбойницей. Хочу опять быть Дунькой Мизгнревой и жить по завету отцов.

– Значит, ты тоже исправилась?

– Как тебе сказать? Право, не знаю. Вы тогда толковали: исправиться – значит вперед двинуться. А мне бы назад отодвинуться, к детству. Много то время лучше было.

– Конечно, то время гораздо лучше, только легко ли тебе будет возвратиться к нему?

– Я не говорю, что легко. Да шатания-то мои мне опротивели до тошноты, а главное – старости страшно!.. Видишь ты этого солдата-ка? Вот все икает-то который? Это, милый ты мой, важная птица, завидный для девицы нашего сорта жених. Единоутробный мой и хлопчет теперь об этом из всех сил. И не почувствует, сердечный, как я стану унтер-офицершей и честною женой. Венец, брат, ведь все, не в одном нашем омуте, покрывает. Может, лет эдак через тридцать, прапорщицей буду, в большой свет попаду...

– Да, это хорошо! – сказал я в рассеянности.

– Да ты, я вижу, забавник! – ответила она с громким хохотом. – Поддакиваешь. Исполнение желаний и без твоих слов полное... Давай исправляться, Сизой!

– Давай, – согласился я.

И мы выпили.

– Скверная у меня привычка есть, Жан: выпью одну рюмку, хочется другую. Выпьем по другой!

Мы выпили по другой.

– И другая у меня привычка есть, еще глупее: когда выпью другую, уж не могу никак, – надо третью.

– Это ты шутишь?

– Ни-ни, – говорила она, наливая третью рюмку, – привычка; оттого я могу ишплявить-ся, как ты, а исправиться совершенно нет силы, потому что за третьей рюмкой у меня непременно следует кутеж, на-квит: через реки прыгаю, моря перехожу... Я, Сизой, больше всего люблю такие приятные занятия и уважаю на свете одного тебя да выпивку, а выпивку больше тебя, – имей это в соображении.

Между тем оргия, разгораясь, становилась час от часу безобразнее. Фельдфебель доказывал солдатику-музыканту, что он молокосос и что, ежели он не будет оказывать старшему почтения, старший ему может в морду накласть, как и закон будто бы повелевает.

– Ну, это увидим! – отвечал солдатик, задумчиво и уже не так смело, как прежде, перебирая на гармонике.

– И не увидишь, как я тебе поднесу! – горячился фельдфебель.

– Увидим, – отстаивал солдатик.

– Ну, что, Сизой, пьян ты? – спросила меня Саша, раскидываясь на лавке и закуривая папироску.

– Пьян.

– Скажи же мне, ученый ты человек, когда люди лучше бывают: пьяные или трезвые?

– Пьяные.

– Вон! Я с тобой согласна. Значит, мы теперь с тобой ребята славные?

– Славные! – коротко отвечал я, потому что думы, одна другой печальнее, зароились в голове моей и отнимали всякое желание говорить.

– Так будь же ты совсем славный, – говорила она, очевидно пьянея. – Мне что-то ужасно весело. Веселись и ты! От скуки я покажу тебе несколько картин из моей жизненной панорамы, так как я очень часто хохотала над твоею всегдашнею страстью собирать материа-

лы для изображения народных нравов. Вот эти картины! Смотри и слушай: вышла я замуж за икотника-ундера. Вот продала я и заложила благоприобретенные шелки да бархаты, купила что нужно детям, мужу, матери его и пою:

*Подвязавши под мышки передник
[3],
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-приверед-
ник
И свекровь в три погибели гнуть.*

Хорошо? Нам не выпить ли, Jean?

– Пожалуй, я налью тебе.

– Я тебе, пожалуй, сама налью. Только ты не будь бабой, пей со мной. Ведь я, может, в последний раз кучу с барином. Ты барин, что ли?

– Столько же, сколько ты барышня.

– Я нарочно тебя спросила: думала, что врать начнешь. Тогда об тебе ввали какую-то чепуху. Одноворцем тебя называли, поповичем и черт знает чем. Я всегда тебя за это любила, Сизой! Потому ты не плоше меня ути-

рал носы разным ослятам. Я очень любила в свое время колотить и издеваться, в шутку будто бы, над разными тузами, и чем туз был толще и вельможнее, тем мне было слаще. Вспомнишь только – в восторг придешь... Сизой, брат мой, слепленный из одной глины со мной, предлагаю тебе тост за процветание доброты в той грязи, откуда мы с тобой выползли...

– Молодец ты, Саша, ей-богу! Ура!

– Ура! – ответила она громко. Я решительно опьянел.

– Веселей держись! – говорила она. – Ты старайся не пьянеть; мы с тобой побольше выпьем и больше поболтаем. Брат, дай сюда холодной воды и лимонов: мы будем пить и освежаться.

Нам подали воды.

– Хорошо в меру выпить, Сизой, а лучше того не в меру, когда ничто не заставляет тебя не говорить того вздора, который лезет в пьяную голову. Я очень это люблю. Запрусь и пью... Ну, так вот, Жан, смотри же мои картины, они тебе будут полезны. Черт их возьми совсем, они, по-вашему сказать, рисуют обще-

СТВО.

– Говори, сделай милость, я слушаю.

– Помню я, – начала она, – как ты рассказывал про жизнь тех людей, которые родили тебя, воспитали, но ты говорил, что тебя так и тянуло от них. Мне очень нравился тогдашний твой рассказ: пьяна ли я была, ты ли пьяный хорошо говорил, или просто твое детство напомнило мне мое детство. Помню я себя вот с какого случая. Ребятишки и девчонки катаются на салазках с горы через всю реку. И я тут. Дорога наша лежит на аршин от проруби. На этом катании был ли кто моложе меня? Только я села в салазки, и мигнуть не успела, как очутилась вместе с ними подольдом да столкнула туда ж соседку одну: белье она мыла. Меня соседка вытащила, – место было не глубокое, а салазки там и остались. Мне никогда не было так больно, как когда я, мокрая вся, бежала с катанья по улице. Резвая я очень была, бежала скоро, а шубенка овчинная с рубашонкой замерзнуть успели. И выдрали же меня, что я чуть не утонула! Сначала высекла мать, потом жена старшего брата потихоньку от матери рвала

меня за волосы, а тут отец еще высек. Не диво, что мать высекла, но я не могла понять, за что меня высек отец. Мы его только и видали о праздниках, когда он, бывало, придет из Москвы и пропьет все: пьет в кабаке, пьет дома и всех колотит. Никогда я не видала, чтоб он с кем-нибудь не дрался или бы не бранился самым подлым образом. Никогда не видала я от него ни одной ласки, а говорили все, что он был умный старик и зарабатывал много; одна беда – пил!.. Долго я сидела на печи, обсушивалась, а сама, помню, все думала: за что этот мужик меня высек? Я всегда называла отца: чужой мужик. А он, знаешь, московская штука, сидит себе на лавке и кричит мне на печь: «Иди, Дунька, сюда, у тятеньки прощенья проси, ручку целуй...» А у меня грудь надывается от злости: задыхалась я тогда от желанья быть большим мужиком и прибить его до смерти... Сажу на печи, плачу и шепчу: «За что дерется чужой мужик? Что он силен-то? Эка! Сладил!..» Теперь сам посуди, каким я зверем родилась. Увидала я, наконец, что может чужой мужик бить меня, сколько его душе угодно, а я сделать ему ничего не могу, и

надумалась. Слезла с печи, подошла к нему, говорю: «Прости, тятенька! Дай ручку поцеловать». – «Давно бы так, говорит. На, целуй!» – и подал руку. Взяла я руку у него, смотрю на нее, а не целую, потому что, помню, передернуло меня всю от радости в это время. «Что же ты, спрашивает, не целуешь?» Как вопьюсь я ему зубами в большой палец, как стисну его, так он застонал даже. Чувствую я, полон рот крови у меня, и жалко уж мне стало чужого мужика, а выпустить все не могу: замерла... Насилу он вырвал от меня палец – все тело было с него сорвано... Как увидела я кровь, плакать было принялась и в самом деле хотела прощенья просить. Только суждено мне, должно быть, никогда никому не показывать хорошего чувства, потому что сызнова принялись они меня все сообща сечь, и опять пуще разозлилась я на них, не за то, что они меня мучили, а за то, что они сильнее меня и что нет у меня у самой силы истеранить их... Так жила я до десяти лет. Перед Рождеством приехал из Москвы отец, как водится, пьяный. Пил он после своего приезда и колотил нас дня три, до того, что мать одна оставалась

с ним, а мы все разбежались по соседям. Только раз пошел он в гости в ближнюю деревню, а оттуда принесли его уж мертвым: замерз на дороге. Остался наш дом без головы. Детей родные к себе разобрали, мать в Москву в кухарки ушла и меня с собой взяла. Тут и начинается моя настоящая история. Года два я шаталась с матерью по чужим домам, и у кого она живала, все на меня любовались, бездетные купцы вместо дочери просили меня, – не дала. Бог знает отчего. Не было ни одной хозяйки у матери, чтобы с кухни не взяла меня к себе в комнаты и платьев не нашила. Умерла мать, – осталась я по двенадцатому году одна на свете. Уж не знаю, какой добрый человек пристроил меня в учение к модистке. Тут я, должно быть, и приобрела свою силу мужскую, когда ведра тяжелые таскала, когда в морозы, кое-как прикрытая, по целым дням белье мыла на реке. Впрочем, я эту модистку не проклинаю за ее обращение и на мастериц не сержусь; бывало, они по ночам при нас, при маленьких, впускают любовников в окна, – такое уж у них заведение было. Терпенью я тут выучилась, что лошадь; пожалуй,

теперь могу два дня не есть и не пить, и одеревенело, я тебе скажу, тело мое вот как: кажется, выдержу, не крикнув, какую хочешь пытку. Зато не обидел же меня после даром никто: оскорбил меня ежели мужчина, так я тоже непременно своими руками расправлялась с ним... Дотянула я эдаким манером до пятнадцати лет, и молодежи, бывало, не отгонишь от нашего магазина. Тут найдись у меня родня – вдова старшего брата. Стала она меня брать к себе по праздникам в гости. Мастерства никакого, а живет, погляжу я, в достатке. Квартира хоть куда, комнат много... Сижу я у ней раз, вижу: подкатила к крыльцу коляска, – офицер в ней из уланов. Это князь один был, дурак и мерзавец такой, что я другого и не видывала. За тысячу целковых она ему меня и спустила. Квартиру мне нанял князь, одел как куклу, вещей подарил, и приятели его тоже. С год я так жила, и хоть бы раз пришло в голову, что ведь надо же этому, рано ли, поздно ли, кончиться. Платья, золота, серебра накопилось у меня в то время, так я думаю, тысяч на пять. Только приезжает вдруг князь ночью ко мне с каким-то другим.

Поговорили они что-то, пересмотрели вещи, мебель и уехали. Наутро опять приезжает и говорит: «У меня, душа моя, обстоятельства очень плохи. Ты мне позволь на время заложить твои вещи вот этому самому. Я, говорит, скоро выкуплю». Вывезли все из моей квартиры. Осталась я в одном салопе и жду, когда это он вернется. А он день за днем реже да реже ко мне стал ездить и денег почти что давать перестал: сидела я тут и без чаю и без обеда частенько-таки. Хозяин приходит, деньги за квартиру стал требовать. Я пошла к князю в дом. «Ты что же, мол, денег за квартиру не платишь? Отчего у меня не бываешь?» – «Я, говорит, нынче на службе состою и бывать у тебя не могу больше; прощай, говорит. На вот тебе денет. Только ты из них не плати хозяину; пусть он мебелью остальной пользуется». А мебели оставалось на три гроша всего... «Изредка, говорит, пиши ко мне; я к тебе приезжать буду». – «А что же, говорю, когда ты на мне женишься?» – «С ума ты сошла, видно?» Такая я тогда дура была: верила ведь, что может он жениться на мне. Стою я перед ним красная вся, а в голове у меня точно ко-

лесо вертится: «Какой же ты подлый! Какой же ты мерзкий обманщик!» Смотрела-смотрела я так-то в лицо ему и все думала, что это он шутит, потому часто, бывало, нарочно принимался дразнить меня, – да пачкой этой с деньгами, что дал он мне, прямо в рожу ему угодила... Ну, веришь ты, что это за человек подлый был? Саблица у него эта в углу стояла, так он с ней на меня и ножнами меня по спине. Может, он и больше бы прибил меня, только вырвала я у него саблю и всю ее об него обломала... И била же я его, негодяя, до тех пор, пока не бросила. Всю руку он мне, которой я его руки держала, искусал, собака скверная, когда вырывался, а людей не позвал. Стыдился показать-то, как его девка бьет. Я тебе вот что скажу, Сизой: все бы я на свете сейчас отдала, только бы его в другой раз еще так же поколотить... Выпьем же мы с тобой за конец моей первой любви. С князем у нас тут дела и кончились.

– Выпьем.

– Прибежала я в ту же ночь к старушке одной знакомой. Квартиры она со столом держала. Рассказала я ей все, – она меня к себе

приняла. «Живи, говорит, пока я тебе работу найду». И не могу я даже понять, за каким чертом, когда жила у этой старухи, каждый я вечер шаталась к квартире князевой и в окна к нему смотрела? Ругаю себя, бывало, а иду и все хочу его встретить, взглянуть на него... Потому удивляюсь, что ежели бы он приехал тогда ко мне и сказал бы, что прямо под венец меня повезет, я бы его все-таки избила: так он мне противен был? Мороз по всему телу пробегает, как только вспомню, бывало, как он меня обнимал... Живу я у этой старушки. Работу она мне изредка доставляла. Нанимал у ней же комнату один гимназистик, хорошенький такой, только курс кончил и на место куда-то в дальнюю губернию собирался. Прознал он мою историю, познакомился, читать и писать учил, помогал, чем мог. Такой был скромный и добрый, никогда ни одного слова, знаешь, эдакого не сказал мне. «Переходите ко мне в комнату, – говорит раз, – у меня веселей. Вы, говорит, не подумайте чего-нибудь... Я так... Мне одному скучно». А сам краснеет. Я и перешла. Месяца два жила я с ним, хорошо жила. Время это я никогда не

забуду. Учил он меня, книги читал, стихи. Многому я от него научилась, и в голове свежей стало; князя совсем позабыла. Только вижу я: полюбил меня мальчишка, делом перестал заниматься, тоскует. Какие же глупые дети мы были тогда! Желается сказать о своей любви, и видим мы это друг в друге, а не говорим. Долго так тянулось. Читает он, бывало, мне что-нибудь, долго читает, забудется и примется смотреть на меня, – я тоже смотрю на него, – и сидим так, пока не опомнимся, а опомнимся, стыдно-стыдно нам станет!.. В жизни у меня только это одно счастье и было. Больше бы хотелось, Сизой, да взять негде! Давай утешимся! Идет?

– Идет! – отвечал я, догадавшись, в чем дело, и мы еще выпили. – Как же ты покончила с гимназистом?

– Как покончила? Просто: новыми слезами покончила, новыми страданиями. Вечером сидим мы с ним, и так-то горячо, с такою-то лаской читает он мне:

*И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...[4]*

Прочитал он мне это и стал говорить о снисхождении и о прощении тем, кто пал, и что какая великая заслуга поставить блудного на путь истинный, а сам все ближе ко мне. Я тоже не сторонюсь, потому что как в раю была я от этих стихов:

*И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...*

И думаю я себе, что вот он-то и позовет меня в свой Дом, и млею, и уже не отвертываюсь от него... Ну и позвал он меня. Обняла я его, прижалась к нему и говорю: «Ведь вы знаете, какая я?» – «Что ж такое? – говорит. – За это я еще больше люблю тебя!..» Выпьем еще, Сизой, потому что порешили мы тут с гимназистиком пожениться... Зато, как узнал об этом решении его отец, нарочно притащился из глуши из своей в Москву и отнял его от меня: говорит старый плут: «Я вам, говорит, вместо свадьбы-то такие-то поронцы устрою жаркие! Тебя собственными руками, а к ней в квартале солдаты руки приложат...» Было мне муки тут, друг мой!.. Один раз в жизни на человека, надобно думать, такая

скорбь посылается... Я и теперь еще его не забыла: как о чем задумаюсь, сама не чувствую, шепчу:

*И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...*

Познакомилась я после того с различными добрыми душами – и запила... Встретилась я с одним человеком. Он дал мне квартиру. Видела, что он ужасно ко мне привязался. У него то я и лизнула этого вашего развития да образования, – будь оно проклято!.. Очень он пристально со мной занимался, читать по-французски учил. Только чем же все кончилось? Привязалась и я к нему и поняла, в чем дело. Это был герой нашего времени: все бы ему делать добро, да силы нет. Раскусила я это, и стало жалко мне его, слабого, и оттого я больше привязалась к нему. Живу я с ним год, другой живу, вдруг он, здорово живешь, пить начинает, как сапожник какой. Убежала я от него. Пойми ты: наострил он меня настолько, что поняла я, отчего он стал пить. Стал скучать со мной, навела я на него хандру, да и обстоятельства его такие были, что я ему ка-

рьеру портила. Я и убежала от него... Хуже, думаю, как не трезвый, так пьяный к черту пошлет меня сам. Чего ж дожидаться-то? Лучше его избавить от пошлости от такой. В благодарность за нравственное добро, которое он сделал мне, я избавила его от тяжелой необходимости... Кажется, мы с ним квиты. Но странно, знаешь, что ни одного из *этих* никогда я не встречала. Выпьем, Jean, за упокой, коли они все умерли, – за здоровье, коли живы!

– Выпьем, Саша! Я главным образом люблю тебя за то, что ты умеешь находить резоны, подвигающие на выпивку. Без того бы со-вестно было так много пить.

– Очень рада, что угодила. Теперь мы будем с тобой больше пить: устала я говорить, да и говорить не об чем... Кого я потом ни встречала и с кем ни сходилась, с тем, ты так и знай, я уж непременно подралась. Оттого и хочу исправиться, – закончила она, наливая рюмку.

Вдруг неизвестная женщина, молодая еще, с криком вламывается в комнату и бросается на икающего ундера. Вместе со стулом повер-

гает она его на пол и без церемонии начинает таскать за волосы.

Хозяин и гости пытаются отбить у нее ундера.

– За что ты его? – спрашивает хозяин. – Что ты это? Что ты делаешь?

– А ты что делаешь? – азартно осведомляется женщина. – Затянул в свою берлогу молокососа да на своей подлой сестре женить его хочешь? Пока жива буду, вот вам что!

И к самому носу будочника подносит она кулак свой. Саша равнодушно смотрела на эту сцену и улыбалась.

– Чему смеешься-то, паскудница? – заорала на нее незваная гостья. – Ах ты, подлянка! Чужих любовников отбивать вздумала. Не по носу табак: хрящ переест.

– Что ж ты не пьешь, Сизой? – сказала мне Саша. – Пей, пожалуйста. Черт знает, как скучно!

– Ты не ругайся, матушка! – посоветовал бабе бравый фельдфебель. – Видишь: здесь барин сидит.

И он указал на меня.

– Черт с вами, с подлыми, и с барином со-

всем! – еще громче кричала бабенка. – Я сама барыня. Иди, иди домой, пьяница, – тащила она ундера. – Я тебе задам жару. Будешь ты у меня свататься шлаться!

– Говор-рри пош-штительней! – бурчал ундер. – Я твой нач-ччальник!

– Ух ты, рожа дурацкая! – бесчестила его попечительница. – Вишь, начальник какой нашелся.

И она заехала его по физиономии.

– Вишь, какая проворная! – толковала публика про неизвестную бабу после ее ухода.

– Напрасно я тютю ей вот этой не поднес, – печалился фельдфебель, показывая кулак. – Ей бы ничего: на здоровье пошло бы...

– Истинно, что напрасно, – согласился хозяин.

– Ну что, Саша? – спрашивал я. – Улетело твое счастье, что ты сейчас мне рисовала. Нужно тебе другого ундера искать, а то ты, пожалуй, так никогда и не справишься.

– Черт с ним, с этим счастьем, – с досадой и отрывисто ответила она. – Неужели ты не понял, что братнины хлопоты о моей, как он называет, пристройке забавляют меня? Мое сча-

стве во мне, Jean! Мне бы только крошечку поумнеть, да злиться перестать понапрасну, да на месяц лаять перестать: вот я тогда и счастлива буду... Пока придет это время, мы с тобой выпьем, веселей ждать...

– И я с вами! – ловко подскочил к нам на каблуках фельдфебель.

– Милости просим! – ответила ему Саша.

– Милости прошу ко мне в гости, – заискивающим тоном приглашал нас фельдфебель. – А ежели, может, насчет жены сомневаетесь – вздор!.. Когда она грубость какую скажет, я ей, Христос свидетель, рот передерну... Шуметь я с ней не буду тогда, – добавил он с громким смехом. – У меня ежели ты супруга, так ты меня спокой, потому на меня не налетай... Мы и без супруг на своем веку довольно много всякой коки с соком накушались! Ха-ха-ха!.. А то супр-руг-га!..

* * *

Очень поздно я вышел от именинника.

Девственная улица была совершенно пуста, и молчание самое невозмутимое утрюмо в ней царствовало. Вся заваленная страшными снежными сугробами, она представляла

до того бездушную картину, что яркий свет молодого месяца нисколько не оживлял ее. Не было ни извозчиков, как в других улицах, ни просто людей. Ворота везде заперты тяжелыми замками, оконные ставни закрыты наглухо и опоясаны толстыми железными болтами.

Я очень хорошо знал, что тишина эта только кажущаяся, что не в одном только доме, откуда я вышел сейчас, кипит в настоящую минуту жизнь, разыгрываются веселые или печальные сцены. Оттого мне и казалось весьма странным, что ни разу не удалось мне подметить ни одного проявления этой жизни ни на улице, ни в нескромных окошках. Думаю я: ведь непременно же в одном из этих домов, сейчас же, может быть, попечительница икающего ундера бьет и ругает его: отчего же я не слышу этого крика? Отчего не слышу ни одного звука на улице, ни одной живой души в ней не вижу? Мне даже стало досадно оттого, что я не мог разрешить себе этих вопросов.

«Кто не имеет тени, тот не должен выходить на солнце», – случайно попало мне на

ЯЗЫК.

Иду я и бессознательно пережевываю эту фразу. Передо мной заходили фантастические приключения Петра Шлемиля[5], о котором сказал еще Шамиссо, как вдруг заметил я, что от низеньких домов девственной улицы падают на снежную дорогу громадные тени. Я остановился и осмотрелся. Моя тень оказалась мне в пять раз больше обыкновенной тени, от меня отражающейся. «Вот странность! – подумал я про себя. – Отчего это у меня такая длинная тень?» Показалось мне в это время, что уличный фонарь, прикрепленный к столбу, как-то иронически посматривает на меня. Подошел я к нему близко, осмотрел я его со всех сторон, и действительно, невинный висельник смотрел на меня необыкновенно насмешливо. Подперся он в бок железным локотком и, каждую секунду подмаргивая мне своим огненным глазом, так и покатывается от смеха.

– Чему ты смеешься? – строго спросил я его. – Можешь ли ты смеяться в такое позднее время?

«Могу, могу», – отвечает он.

– Нет, не можешь! Ты светить должен, а не смеяться.

«Я смеюсь и свечу. Ты посмотри, какая у тебя длинная тень».

– Вижу. Ну что же?

«А моя, посмотри, длинна ведь?»

Я взглянул и на его тень. Боже! Она невиданным змеем каким-то растянута вкось улицы, пробежала через соседнюю широкую площадь и скрылась из глаз моих во мраке уж другой части города.

Изумление мое возросло в высшей степени, тем более что тень фонаря не лежала, как бы следовало, позади столба, а с непостижимым нахальством выпячивалась вперед. Фонарь больше и больше издевался надо мной.

– Отчего это? – допытывался я у фонаря. «Так!» – отвечал он, продолжая хохотать.

– Не может быть, чтобы так. Ты, наверно, знаешь, только не хочешь сказать. Ежели бы ты не знал, – усовещевал я его, – ты бы не смеялся.

«Клянусь, не знаю. Меня сюда недавно поставили. В Газетном переулке, где я прежде стоял, тени у всех были обыкновенные, а

здесь, видишь, какие? Кто только проходит по этим местам, особенно ночью, все меня спрашивают: отчего это? Я этому и смеюсь».

– Будто уж все? – спросил я.

Обиженный отошел я от него, справедливо воображая, что он знает гораздо больше того, нежели сказал мне.

«Не может быть, – думаю я про себя, – чтоб обитатели девственной улицы все имели такие длинные и более обыкновенного черные тени, как у меня и фонаря».

«У всех до одного такие!» – крикнул мне издали фонарь тонкою фистулой.

– Врешь! – ору я ему басом.

«У всех, у всех!» – снова донеслась ко мне фистула.

– Врр-решь, – изо всех легких трублю я в ответ и сам остаюсь необыкновенно доволен, что бас мой звонко раскатился по сонной улице.

Согласным хором ответили мне обывательские собаки, пробужденные моим криком.

«Сейчас издохнуть, ежели вру!» – донельзя убедительно прозвенел фонарь тонким голосом.

КОМ.

– А ежели ты не врешь, так я знаю теперь, отчего все вы сидите за дверьми дубовыми, за замками железными, – именно оттого, что у всех вас здесь тени очень длинные, – бормочу я. – А кто имеет длинную тень, тому нужно дома сидеть, – пародирую я Шамиссо.

– Обстоятельней докладывай, – прохрипел чей-то знакомый голос.

Я останавливаюсь, нагибаю голову и стараюсь догадаться, кому принадлежит этот голос.

– Говор-ри деликатней: я – твой начальник!

Тут я догадался, что это икающий ундер. Сильный морозный ветер подул мне в лицо, и к первой догадке моей присоединилась другая, что я необыкновенно пьян. Только что пришел я к этому выводу, как, к крайнему моему удивлению, тень моя значительно уменьшилась...

Снова донесся до меня тонкий, насмешливый хохот фонаря; но голова моя была уж настолько свежа, что я теперь не обиделся на этот хохот.

«Вздор! – рассуждал я. – Это только так чудится мне».

Я перешел широкую площадь и повернул в другую людную улицу. Повстречался со мной какой-то барин в истерзанном пальто. Он спотыкался на каждом шагу, очевидно, направляясь в девственную улицу.

– Ежели они опять спрашивать станут, – бурлил он, – отчего я пью, не буду разговаривать с ними: прямо в зубы заеду...

Длинная тень бежала за истерзанным пальто... «Вот это действительность!» – подумал я.

Над самым моим ухом сторож затрещал в трещотку; посередине улицы быстро мчалась карета, сверкая фонарями: где-то гудели часы.

«И это действительность», – продолжал я пробовать свежесть моей головы.

– Ваше сиятельство! Что же на рысачке-то обещались прокатиться! – говорил совершенно незнакомый извозчик. – Полтинничек бы прокатали, ваше сиятельство. Ах! хорошо бы мне ночным-то делом на полтинничек съездить! Пра-а-ва!

Я совсем отрезвел, потому что мне пред-

стояла длинная дорога до квартиры пешком, ибо полтинника, который бы мог, по мнимому обещанию, прокатать на рысачке, ни в кармане, ни дома у меня не оказывалось.

– И это действительность! – сказал я вслух и бодро принялся гранить замерзшую мостовую.

Извозчик, обманутый в своих ожиданиях, загнул мне вслед неласковое слово. Мне почему-то стало веселее от этого слова.

Примечания

Печатается по изданию: «Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы А. И. Левитова». Изд. 3-е, М., 1875, с. 222—263. Впервые опубликовано в журнале «Зритель», 1862, NoNo 16 и 17, под заглавием «Из московских нравов. Совершенно погибшее, но весьма милое создание». Подпись: *Иван Сизой*.

[^^^]

2

«*Людская молвь и конский топот...*» – Неточная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава 5, строфа XVII).

[^^^]

«Подвязавши под мышки передник...» – Из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка».

[^^^]

4

«И в дом мой смело и свободно хозяйкой полною войди...» – Из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья...».

[^^^]

Кто не имеет тени, тот не должен выходить на солнце... Передо мной заходили фантастические приключения Петра Шлемиля...

– Иван Сизой вспоминает героя романа немецкого писателя Адельберта Шамиссо (1781—1838) «Удивительная история Петра Шлемиля», который продал дьяволу свою тень (душу) и стал отверженным среди людей. По ассоциации и контрасту в представлении Ивана Сизого обитатели Марьиной слободки имеют «неоправданно длинные тени» потому, что они не растратили свои души.

[^^^]